

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Трилогія. Російською мовою (за першодруком).

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ИЗ ВРЕМЕН ХМЕЛЬНИЧЧИНЫ ПЕРЕД БУРЕЙ

Книга первая

1

Безбрежная, дикая степь мертва и пустынна; укрылась она белым саваном и раскинулась белой скатертью кругом, во всю ширь взгляда; снежный полог то лежит мелкой рябью, то вздымается в иных местах небольшими сугробами, словно застывшими волнами в разыгравшуюся погоду. Кое где, на близком расстоянии, торчат из под снега засохшие стебли холодка, будяков, мышия или вырезаются волнистые бахромки полегшей тырсы и ковыля; между ними мелькают вблизи легкие отпечатки различных звериных следов. А там дальше, до конца края, однообразно и тоскливо бело. Серое, свинцовое небо кажется от этого мрачным, а конец горизонта еще больше темнеет, резко выделяя снежный рубеж. Ни пути, ни тропы, ни звука! Только вольный ветер свободно гуляет себе по вольной, не заповоленной еще рукою человека степи да разыгрывается иногда в буйную удаль — метель.

Ничтожен кажется человек среди этой беспредельной нелюдимой пустыни! Чернеющая, неведомая даль щемит ему сердце тоскою, низкое небо давит тяжелым шатром, а срывающиеся вздохи уснувшей на время метели леденят и морозят надежду; но на широком лоне этой раздольной в размахе степи пустыни воспитался и дерзкий в отваге сын ее — запорожский казак; вольный, как ветер, необузданный, как буран, бесстрашный, как тур, он мчится по этому безбрежному — то белому, то зеленому — морю, и любо ему перевесть свою выкоханную силой и с лютым зверем, и с татариним, и со всяким врагом его волюшки; ничто ему не страшно: ни железо, ни вьюга, ни буря, ни самая смерть, а страшна ему лишь неволя, и ей то он не отдастся

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Трилогія. Російською мовою (за першодруком).

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ИЗ ВРЕМЕН ХМЕЛЬНИЧЧИНЫ ПЕРЕД БУРЕЙ

Книга первая

1

Безбрежная, дикая степь мертва и пустынна; укрылась она белым саваном и раскинулась белой скатертью кругом, во всю ширь взгляда; снежный полог то лежит мелкой рябью, то вздымается в иных местах небольшими сугробами, словно застывшими волнами в разыгравшуюся погоду. Кое где, на близком расстоянии, торчат из под снега засохшие стебли холодка, будяков, мышия или вырезаются волнистые бахромки полегшей тырсы и ковыля; между ними мелькают вблизи легкие отпечатки различных звериных следов. А там дальше, до конца края, однообразно и тоскливо бело. Серое, свинцовое небо кажется от этого мрачным, а конец горизонта еще больше темнеет, резко выделяя снежный рубеж. Ни пути, ни тропы, ни звука! Только вольный ветер свободно гуляет себе по вольной, не заповоленной еще рукою человека степи да разыгрывается иногда в буйную удаль — метель.

Ничтожен кажется человек среди этой беспредельной нелюдимой пустыни! Чернеющая, неведомая даль щемит ему сердце тоскою, низкое небо давит тяжелым шатром, а срывающиеся вздохи уснувшей на время метели леденят и морозят надежду; но на широком лоне этой раздольной в размахе степи пустыни воспитался и дерзкий в отваге сын ее — запорожский казак; вольный, как ветер, необузданный, как буран, бесстрашный, как тур, он мчится по этому безбрежному — то белому, то зеленому — морю, и любо ему перевесть свою выкоханную силой и с лютым зверем, и с татариним, и со всяким врагом его волюшки; ничто ему не страшно: ни железо, ни вьюга, ни буря, ни самая смерть, а страшна ему лишь неволя, и ей то он не отдастся

воеки живым; не поймать его, как буйного ветра в степи, и не сковать его, как бурного моря...

По этой дикой пустыне поздней осенью 1638 года ехало два всадника. Один из них, рослый и статный, широкий в плечах, с сильно развитою и выпуклою грудью, был одет в штофный темно малинового цвета жупан, плотно застегнутый серебряными гудзиками и широко опоясанный шелковым поясом, за которым с двух сторон торчало по богатому турецкому пистолету. Сверх жупана надет был на нем кунтуш, подбитый черным барашком и покрытый темно зеленым фряжским сукном. Широкие, как море, синие штаны лежали пышными складками и были вдеты в голенища сафьянных сапог с серебряными каблуками и острогами. У левого бока висела кривая в кожаных ножнах сабля. Сверх всей одежды у казака была наопахь накинута из толстой баи бурка керея с красиво расшитою видлогою, а на голову была надета высокая шапка из черного смушка с красным висячим верхом, украшенным золотою кистью. Лицо у казака было мужественно и красиво: высокий, благородно изваянный лоб выделялся, от синеющих на подбритых висках теней, еще рельефнее своею выпукlostью и белизною; резкими дугами лежали на нем темные брови, подымаясь у переносья чуть чуть вверх и придавая выражению лица какую то непреклонную силу; умные, карие, узко прорезанные глаза горели меняющимся огнем, сверкая то дивною удалью, то злобой, то теплясь вкрадчивой лаской; несколько длинный с едва заметною горбинкой нос изобличал примесь восточной крови, а резко очерченные губы, под опущенными вниз небольшими черными усами, играли шляхетскою негой. Сквозь смуглый тон гладко выбритых щек пробивался густой, мужественный румянец и давал казаку на вид не более тридцати пяти — тридцати семи лет. Под всадником выступал крупный, породистый аргамак, весь серебристо белый, лишь с черною галкой на лбу.

Несколько дальше за ним ехал другой путник на крепком рыжем коне бахмате; с могучей шеи его спадала почти до колен густая, волнистая грива; толстые ширококопытные ноги были опушены волохатою шерстью. На широкой спине этого румака сидел в простом казачьем седле еще совсем молодой хлопец, лет шестнадцати — восемнадцати, не больше. Одет он был сверх

воеки живым; не поймать его, как буйного ветра в степи, и не сковать его, как бурного моря...

По этой дикой пустыне поздней осенью 1638 года ехало два всадника. Один из них, рослый и статный, широкий в плечах, с сильно развитою и выпуклою грудью, был одет в штофный темно малинового цвета жупан, плотно застегнутый серебряными гудзиками и широко опоясанный шелковым поясом, за которым с двух сторон торчало по богатому турецкому пистолету. Сверх жупана надет был на нем кунтуш, подбитый черным барашком и покрытый темно зеленым фряжским сукном. Широкие, как море, синие штаны лежали пышными складками и были вдеты в голенища сафьянных сапог с серебряными каблуками и острогами. У левого бока висела кривая в кожаных ножнах сабля. Сверх всей одежды у казака была наопахь накинута из толстой баи бурка керея с красиво расшитою видлогою, а на голову была надета высокая шапка из черного смушка с красным висячим верхом, украшенным золотою кистью. Лицо у казака было мужественно и красиво: высокий, благородно изваянный лоб выделялся, от синеющих на подбритых висках теней, еще рельефнее своею выпукlostью и белизною; резкими дугами лежали на нем темные брови, подымаясь у переносья чуть чуть вверх и придавая выражению лица какую то непреклонную силу; умные, карие, узко прорезанные глаза горели меняющимся огнем, сверкая то дивною удалью, то злобой, то теплясь вкрадчивой лаской; несколько длинный с едва заметною горбинкой нос изобличал примесь восточной крови, а резко очерченные губы, под опущенными вниз небольшими черными усами, играли шляхетскою негой. Сквозь смуглый тон гладко выбритых щек пробивался густой, мужественный румянец и давал казаку на вид не более тридцати пяти — тридцати семи лет. Под всадником выступал крупный, породистый аргамак, весь серебристо белый, лишь с черною галкой на лбу.

Несколько дальше за ним ехал другой путник на крепком рыжем коне бахмате; с могучей шеи его спадала почти до колен густая, волнистая грива; толстые ширококопытные ноги были опушены волохатою шерстью. На широкой спине этого румака сидел в простом казачьем седле еще совсем молодой хлопец, лет шестнадцати — восемнадцати, не больше. Одет он был сверх

простого жупана в байбарак, покрытый синим сукном и отороченный серым барашком, подпоясан был кожаным ремнем, а на голове у него надета была сивая шапка. У молодого всадника, слева на поясе, висела тоже кривая сабля, а за спиною болтался в чехле длинный мушкет. С первого же взгляда можно было хлопца признать за татарчонка. Смуглый цвет лица, вороньего крыла вьющийся кольцами волос, узко прорезанные глаза и широкие скулы... но в прямом, как струна, носе и тонких губах была видна примесь украинской крови.

Начинало темнеть. Ветер усиливался и срывал снизу снежную пыль, заволакивая темную даль белесоватым туманом. Вдали поднялись тучею черные точки и долетел отзвук далекого карканья.

— Должно быть, батьку, жильё там, — отозвался несколько дрожащим голосом хлопец, — ишь как гайворонье играет.

— Над падалью или над трупом, — строго взглянул в указанную сторону казак, — а то, вернее еще, на погоду: чуют заверюху.

— Куда же мы от нее укроемся? — робко спросил хлопец, оглядывая безнадежно темнеющую мертвую даль.

— А ты уже и струсил? — укорил старший. — Эх, а еще казакком хочешь быть!

— Я, батьку, не боюсь, — обиделся хлопец и молодецкато привстал на седле. — Разве под Старицею{1} не скакал я рядом с тобою, разве не перебил эту саблей вражье копьё, что гусарин было направил в кошевого, пана атамана Гушо{2}?

— Верно, верно, мой сынку, прости на слове; ты уже познакомился с боевою славой, попробовал этой хмельной браги и не ударил лицом в грязь, — улыбнулся казак, и глаза его засветились ласкою.

— А чего мне с вельможным паном страшиться? Ведь переправил же под Бужиним{3} в душегубке на тот бок Днепра! И черта пухлого не испугаюсь, не то что!.. А за батька Богдана{4} вот хоть сейчас готов всякому вырвать глаза!

— Спасибо тебе, джуро мой верный, — я знаю, что ты меня любишь, и тебе я верю, как сыну.

— Да как же мне и не любить тебя, батьку! От смерти спас... света дал... пригрел, словно сына... Хоть и татарчуком меня дразнят, а татарчук за это и живым ляжет в могилу.

простого жупана в байбарак, покрытый синим сукном и отороченный серым барашком, подпоясан был кожаным ремнем, а на голове у него надета была сивая шапка. У молодого всадника, слева на поясе, висела тоже кривая сабля, а за спиною болтался в чехле длинный мушкет. С первого же взгляда можно было хлопца признать за татарчонка. Смуглый цвет лица, вороньего крыла вьющийся кольцами волос, узко прорезанные глаза и широкие скулы... но в прямом, как струна, носе и тонких губах была видна примесь украинской крови.

Начинало темнеть. Ветер усиливался и срывал снизу снежную пыль, заволакивая темную даль белесоватым туманом. Вдали поднялись тучею черные точки и долетел отзвук далекого карканья.

— Должно быть, батьку, жильё там, — отозвался несколько дрожащим голосом хлопец, — ишь как гайворонье играет.

— Над падалью или над трупом, — строго взглянул в указанную сторону казак, — а то, вернее еще, на погоду: чуют заверюху.

— Куда же мы от нее укроемся? — робко спросил хлопец, оглядывая безнадежно темнеющую мертвую даль.

— А ты уже и струсил? — укорил старший. — Эх, а еще казакком хочешь быть!

— Я, батьку, не боюсь, — обиделся хлопец и молодецкато привстал на седле. — Разве под Старицею{1} не скакал я рядом с тобою, разве не перебил эту саблей вражье копьё, что гусарин было направил в кошевого, пана атамана Гушо{2}?

— Верно, верно, мой сынку, прости на слове; ты уже познакомился с боевою славой, попробовал этой хмельной браги и не ударил лицом в грязь, — улыбнулся казак, и глаза его засветились ласкою.

— А чего мне с вельможным паном страшиться? Ведь переправил же под Бужиним{3} в душегубке на тот бок Днепра! И черта пухлого не испугаюсь, не то что!.. А за батька Богдана{4} вот хоть сейчас готов всякому вырвать глаза!

— Спасибо тебе, джуро мой верный, — я знаю, что ты меня любишь, и тебе я верю, как сыну.

— Да как же мне и не любить тебя, батьку! От смерти спас... света дал... пригрел, словно сына... Хоть и татарчуком меня дразнят, а татарчук за это и живым ляжет в могилу.

— Что дразнят? Начхай на то! Разве у тебя не такая душа, как у всех нас, грешных? И мать у тебя наша, украинка, из Крапивной; я сестру ее старшую, твою тетку Катерину, знавал... Славная была казачка, — земля над нею пером, — не далась живой в руки татарину. Да и ты уже крещен Алексием, только вот я все по старому величаю тебя Ах меткой.

— Ахметка лучше, а то я на Алексея и откликаться не стал бы, — весело засмеялся джура.

Лошади пошли шагом; казак Богдан, как называл его хлопец, о чем то задумался и низко опустил на грудь голову, а у молодого хлопца от похвалы и теплого слова батька заискрились радостью очи и заиграла юная кровь.

— А у меня таки, признаться, батьку, ушла было тогда в пятки душа, впервые ведь, вот что, — начал снова весело джура, почтительно осаживая коня. — Как спустились мы по буграку к Старице речке, а за дымом ничего и не видно, только грохочет гром от гармат, аж земля дрожит, да раздаются вблизи где то крики: «Бей хлопков!» У меня как будто мурашки побежали за шкурой и холод приподнял чуприну... А когда батько гукнул: «На погибель ляхам!» — и кони наши, как бешеные, рванулись вихрем вперед, так куда у меня и страх девался — в ушах зазвенело, в глазах пошли красные круги, а в голове заходил чад... и я уже не чувял ясно, где я и что я, а только махал отчаянно саблей... Передо мной, как в дыму, носились рейстровики и запорожцы, паны отаманы, Бурлий{5}, Пешта Роман{6}... мелькали целые полчища латников и драгун, какой то хмельной разгул захватывал дух и заставлял биться отвагою сердце!..- Молодец, юнак! — одобрительно улыбнулся казак и, осадив коня, потрепал по плечу своего джуру. — Будет с тебя лыцарь... Душа то у тебя казачья, много удали, только бы поучиться еще да на Запорожье побыть.

— Эх, кабы! — вздохнул хлопец и потом серьезно спросил: — Батьку Богдане, а чего мы помогли тогда нашим, а потом и оставили их? Ведь сказывали, что на них шел еще князь Ярема{7}?

— Все будешь знать, скоро состаришься, — буркнул под нос казак, поправив рукою заиндевевшие усы, — мы и так там очутились случайно, ненароком, не зная, что и к чему, — сверкнул он пытливым взглядом на хлопца.

— Что дразнят? Начхай на то! Разве у тебя не такая душа, как у всех нас, грешных? И мать у тебя наша, украинка, из Крапивной; я сестру ее старшую, твою тетку Катерину, знавал... Славная была казачка, — земля над нею пером, — не далась живой в руки татарину. Да и ты уже крещен Алексием, только вот я все по старому величаю тебя Ах меткой.

— Ахметка лучше, а то я на Алексея и откликаться не стал бы, — весело засмеялся джура.

Лошади пошли шагом; казак Богдан, как называл его хлопец, о чем то задумался и низко опустил на грудь голову, а у молодого хлопца от похвалы и теплого слова батька заискрились радостью очи и заиграла юная кровь.

— А у меня таки, признаться, батьку, ушла было тогда в пятки душа, впервые ведь, вот что, — начал снова весело джура, почтительно осаживая коня. — Как спустились мы по буграку к Старице речке, а за дымом ничего и не видно, только грохочет гром от гармат, аж земля дрожит, да раздаются вблизи где то крики: «Бей хлопков!» У меня как будто мурашки побежали за шкурой и холод приподнял чуприну... А когда батько гукнул: «На погибель ляхам!» — и кони наши, как бешеные, рванулись вихрем вперед, так куда у меня и страх девался — в ушах зазвенело, в глазах пошли красные круги, а в голове заходил чад... и я уже не чувял ясно, где я и что я, а только махал отчаянно саблей... Передо мной, как в дыму, носились рейстровики и запорожцы, паны отаманы, Бурлий{5}, Пешта Роман{6}... мелькали целые полчища латников и драгун, какой то хмельной разгул захватывал дух и заставлял биться отвагою сердце!..- Молодец, юнак! — одобрительно улыбнулся казак и, осадив коня, потрепал по плечу своего джуру. — Будет с тебя лыцарь... Душа то у тебя казачья, много удали, только бы поучиться еще да на Запорожье побыть.

— Эх, кабы! — вздохнул хлопец и потом серьезно спросил: — Батьку Богдане, а чего мы помогли тогда нашим, а потом и оставили их? Ведь сказывали, что на них шел еще князь Ярема{7}?

— Все будешь знать, скоро состаришься, — буркнул под нос казак, поправив рукою заиндевевшие усы, — мы и так там очутились случайно, ненароком, не зная, что и к чему, — сверкнул он пытливым взглядом на хлопца.

— Как не знали? — наивно изумился тот. — Да помнишь же, батьку, как в шинке ты подбил запорожцев на герц, чтобы помогли нашим? И не диво ль? Просто аж смех берет, — восторгался при воспоминании джура, — всего навсего десять человек, а как гикнули да бросились сбоку в дыму, смешали к черту лядскую конницу, а наши пиками пугнули ее... Кабы не ты, батьку, то кто его знает, лядская сила больше была, одолела бы, а ты вот помог...

— Слушай, Ахметка! — ласковым, но вместе с тем и внушительным тоном осадил Богдан хлопца, — об этом, об нашем герце, нужно молчать и никому, понимаешь, никому не признаваться: нас не было там сроду, и баста! — уже повелительно закончил Богдан.

Хлопец взглянул, недоумевая, на батька и прикусил язык.

— А что мы выехали из дому и плутаем по степи, так то по коронной потребности — понимаешь? — внушительно подчеркнул Богдан.

— Добре, а куда же мы едем, чтоб знать? — тихим, почти-тельным голосом спросил джура. — После речки Орели третий день ни жилья, ни дубравы, а только голая клятая степь.

— Увидишь, а степи не гудь: теперь то она скучна, верно, а вот поедешь летом, не нарадуешься: море морем, так и играет зелеными волнами, а везде то — стрекотание, пение и жизнь: косули, куропатки, стрепета и всякая дичь просто кишмя кишат... А дух, а роскошь, а воля! Эх, посмотришь, распахнешь грудь да так и понесешься навстречу буйному ветру либо татарину... И конца краю той степи нет, тем то она и любя, и пышна.

Между тем в воздухе уже слышались тяжелые вздохи пустыни; ветер крепчал и, переменяв направление, сделался резким. На всадников слева понеслись с силою мелкие блестящие кристаллики и, словно иглами, начали жечь им лица.

— Эге ге, — заметил старший казак, потерши побледневшую щеку, — никак поднялся москаль (северный ветер), этот заварит кашу и наделает бед! И что за напасть! Отродясь не слыхивал, чтоб в такую раннюю пору да ложилась зима, да еще где? Эх, не к добру! Стой ка, хлопче! — пересунул он шапку и остановил коня. — Осмотреться нужно и сообразить.

— Как не знали? — наивно изумился тот. — Да помнишь же, батьку, как в шинке ты подбил запорожцев на герц, чтобы помогли нашим? И не диво ль? Просто аж смех берет, — восторгался при воспоминании джура, — всего навсего десять человек, а как гикнули да бросились сбоку в дыму, смешали к черту лядскую конницу, а наши пиками пугнули ее... Кабы не ты, батьку, то кто его знает, лядская сила больше была, одолела бы, а ты вот помог...

— Слушай, Ахметка! — ласковым, но вместе с тем и внушительным тоном осадил Богдан хлопца, — об этом, об нашем герце, нужно молчать и никому, понимаешь, никому не признаваться: нас не было там сроду, и баста! — уже повелительно закончил Богдан.

Хлопец взглянул, недоумевая, на батька и прикусил язык.

— А что мы выехали из дому и плутаем по степи, так то по коронной потребности — понимаешь? — внушительно подчеркнул Богдан.

— Добре, а куда же мы едем, чтоб знать? — тихим, почти-тельным голосом спросил джура. — После речки Орели третий день ни жилья, ни дубравы, а только голая клятая степь.

— Увидишь, а степи не гудь: теперь то она скучна, верно, а вот поедешь летом, не нарадуешься: море морем, так и играет зелеными волнами, а везде то — стрекотание, пение и жизнь: косули, куропатки, стрепета и всякая дичь просто кишмя кишат... А дух, а роскошь, а воля! Эх, посмотришь, распахнешь грудь да так и понесешься навстречу буйному ветру либо татарину... И конца краю той степи нет, тем то она и любя, и пышна.

Между тем в воздухе уже слышались тяжелые вздохи пустыни; ветер крепчал и, переменяв направление, сделался резким. На всадников слева понеслись с силою мелкие блестящие кристаллики и, словно иглами, начали жечь им лица.

— Эге ге, — заметил старший казак, потерши побледневшую щеку, — никак поднялся москаль (северный ветер), этот заварит кашу и наделает бед! И что за напасть! Отродясь не слыхивал, чтоб в такую раннюю пору да ложилась зима, да еще где? Эх, не к добру! Стой ка, хлопче! — пересунул он шапку и остановил коня. — Осмотреться нужно и сообразить.

Прикрыв ладонью глаза, осмотрел он зорко окрестность; картина не изменилась, только лишь даль потемнела да ниже насунулось мрачное небо.

Он нагнулся потом к снежному пологу и начал внимательно рассматривать стебли бурьяна и других злаков, разгребая для этого руками и саблею снег.

— Ага! — заметил он радостно после долгих поисков. — Вот и катран уже попадает: стало быть, недалеко или балка с водою, или гаек, а то и Самара, наша любимая речка. Не журишь, хлопче! — закончил он весело, отряхивая снег.

Кони тихо стояли и, опустив головы, глотали снег да вздрагивали всей шкурой.

— Постой ка! Нужно еще следы рассмотреть, — прошел несколько дальше Богдан и смел своею шапкой верхний, недавно припавший снежок. — Так, так, все туда пошли, где и гайворонье: значит, там для них лаз, там и спрят, значит, туда и прямовать, — порешил казак и вернулся к джуре.

— Ну, вот что, хлопче! — обратился он к нему. — Достань ка фляжку, отогреть нужно казацкую душу, да и коней подбодрить, — промерзли; нам ведь до полных сумерек нужно быть там, где каркает проклятое воронье.

Хлопец достал солидную фляжку и серебряный штучный стакан; но казак взял только фляжку, заметив, что душа меру знает.

Отпив из фляги с добрый ковш оковытой горилки, Богдан добросовестно крякнул, отер рукавом кунтуша усы, приказал джуре выпить тоже хотя бы стакан.

— Не много ли, батьку? — усомнился было хлопец, меряя глазами посудину.

— Пустое. Под заверюху еще мало, — успокоил его Богдан, — нужно же запастись топливом. А теперь вот передай сюда фляжку, нужно и коней подбодрить хоть немного. Охляли и промерзли добряче. Да вот еще что, достань ка из саквов краюху хлеба да сало; побалуем свою душу да и в путь!

Хлеб и сало были поданы, и Богдан, разделив последнее поровну между собою и хлопцем, отрезал для обоих по доброму куску хлеба, а остальную краюху разломил пополам.

Прикрыв ладонью глаза, осмотрел он зорко окрестность; картина не изменилась, только лишь даль потемнела да ниже насунулось мрачное небо.

Он нагнулся потом к снежному пологу и начал внимательно рассматривать стебли бурьяна и других злаков, разгребая для этого руками и саблею снег.

— Ага! — заметил он радостно после долгих поисков. — Вот и катран уже попадает: стало быть, недалеко или балка с водою, или гаек, а то и Самара, наша любимая речка. Не журишь, хлопче! — закончил он весело, отряхивая снег.

Кони тихо стояли и, опустив головы, глотали снег да вздрагивали всей шкурой.

— Постой ка! Нужно еще следы рассмотреть, — прошел несколько дальше Богдан и смел своею шапкой верхний, недавно припавший снежок. — Так, так, все туда пошли, где и гайворонье: значит, там для них лаз, там и спрят, значит, туда и прямовать, — порешил казак и вернулся к джуре.

— Ну, вот что, хлопче! — обратился он к нему. — Достань ка фляжку, отогреть нужно казацкую душу, да и коней подбодрить, — промерзли; нам ведь до полных сумерек нужно быть там, где каркает проклятое воронье.

Хлопец достал солидную фляжку и серебряный штучный стакан; но казак взял только фляжку, заметив, что душа меру знает.

Отпив из фляги с добрый ковш оковытой горилки, Богдан добросовестно крякнул, отер рукавом кунтуша усы, приказал джуре выпить тоже хотя бы стакан.

— Не много ли, батьку? — усомнился было хлопец, меряя глазами посудину.

— Пустое. Под заверюху еще мало, — успокоил его Богдан, — нужно же запастись топливом. А теперь вот передай сюда фляжку, нужно и коней подбодрить хоть немного. Охляли и промерзли добряче. Да вот еще что, достань ка из саквов краюху хлеба да сало; побалуем свою душу да и в путь!

Хлеб и сало были поданы, и Богдан, разделив последнее поровну между собою и хлопцем, отрезал для обоих по доброму куску хлеба, а остальную краюху разломил пополам.